

Виктор Гусев-Рошинец
Проселок

Роман в новеллах



Виктор Гусев-Рощинец

Проселок

«Издательские решения»

Гусев-Рошинец В.

Проселок / В. Гусев-Рошинец — «Издательские решения»,

«Просёлок» — роман в новеллах. Рисует картины и образы России 90-х годов двадцатого века. Исполнен драматизма, свойственного этим годам упадка и внутренних конфликтов.

Содержание

Исторические прецеденты	6
Кодекс чести	15
Чары Платона	22
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Проселок

Роман в новеллах

Виктор Гусев-Рощинец

Сею предшествует пахота. И нужно сделать плодородным то поле, которое вследствие неизбежным ставшего владычества страны метафизики должно было оставаться заброшенным и никому не ведомым. Нужно прежде всего почувствовать, предощутить это поле, а потом уж отыскать и возделывать. Нужно в самый первый раз пройти дорогой, ведущей к этому полю. Много еще есть на свете неведомых проселков, ведущих к полям. И однако каждому мыслящему отведен лишь один путь, и это его путь, – и он, прокладывая его, обязан ходить по нему взад-вперед, до тех пор, пока наконец не приучится он выдерживать направление и не признает своим тот путь, который однако никогда не будет принадлежать ему, до тех пор, пока наконец не научится говорить то, что можно изведать лишь на этом и ни на каком другом пути.

Мартин Хайдеггер. «Просёлок»

© Виктор Гусев-Рощинец, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Исторические прецеденты

В перспективе человеческого духа смерть – это не то что дано, а то что следует сотворить; это задача, которую мы активно берём на себя и которая становится источником нашей активности и нашей власти.

(М. Бланио, «Смерть как возможность»)

Он не любил себя в такие дни. Установившаяся жара изнуряла к тому необычайной влажностью, и что-то уже по-видимому сдвинулось в атмосфере, рождая циклон, который налетит через два-три дня, и только тогда придёт облегчение, восстановится душевное равновесие. Проклятая метеочувствительность! Она не столько досаждала общей расслабленностью, сколь депрессией, в которую повергала его в эти периоды, предшествующие погодным сдвигам. Он не помнил, чтобы нечто подобное происходило с ним в молодые годы. Может быть, это возраст? Но ведь он ещё совсем не стар, шестьдесят прожитых лет не сказались на здоровье, если не считать лёгкого поскрипывания в суставах, поредевших волос и вот этих внезапных «душевных провалов», угрожающих – всего более боялся он – работоспособности.

Он знал, что многие называют его диктатором. Жалкие глупцы! Им наплевать на величие нации. Невдомёк, что История – с большой буквы – во все времена подвижна была «диктаторами», попросту говоря – личностями, а уж отнюдь не чернью, не «массами», которые хотя и «восстали», но ведь не стяжали ничего кроме сомнительной славы «потребителей». Читайте великого Ортегу! (Впрочем, о его философской привязанности было известно уже достаточно хорошо – позаботились многочисленные интервьюеры.) Трагедия народа состоит в том, что его толщу не пронизывают могучие корни аристократических родов, не крепят «почву», не предохраняют от оползней и обвалов. Корчеватели хорошо постарались, некогда великая нация стала обыкновенным сбродом, который вновь может сплотить только высокая цель, и только неустанное, упорное движение к ней способно породить новую аристократию. Говорят, что он развязал гражданскую войну. Чушь! Гражданские войны не прекращались нигде и никогда. Искусство правителя всегда состояло в том, чтобы превратить войну гражданскую в войну освободительную, а если нет достойного противника – придумать его. Ему посчастливилось придти к власти именно в тот момент, когда «образ врага» (он с удовольствием использовал эти модные пацифистские словечки) – этот отвратительный лик выступил с отчётливой ясностью, и не потребовалось его изобретать, чтобы направить в нужную сторону стрелу народного гнева. Восточный тиран жестоко ошибался, когда призывал на головы соплеменников гражданскую войну – в итоге он расколлот мир и едва не пустил под откос земную цивилизацию. А что можно сказать о Западе, который кичится своим благополучием, в то время как самая настоящая гражданская война набирает силу на улицах и площадях его чистеньких ухоженных городов, где бесчинствуют банды каких-нибудь «бритоголовых», сумасшедшие одиночки палят из автоматов по толпе, а герои-подпольщики взрывают коляски с младенцами? Не новый ли восточный владыка, похоже, не прочитавший ни одной книги, опухший от пьянства, отупевший от лести, не он ли обратил в руины один из красивейших городов своей страны? Не он ли палил из пушек по окнам парламента, крича при этом о приверженности демократическим принципам? Жалкий трус! Уж лучше бы сразу короновался на царство, по крайней мере, никто не смог бы тогда упрекнуть его в демагогии. Высшее достоинство политика – искренность, если ты идёшь к своей цели по трупам сограждан, то лучше не делать вида, что указываешь путь в рай.

Он придвинул к себе папку с бумагами «на подпись», но не открыл её; откинувшись на спинку кресла, положил обе руки на гладь шелковистой голубой кожи и расправил пальцы; потом снова сжал кулаки, придирчиво рассматривая пятна на тыльной стороне правой ладони.

Даже кварц не мог затушевать эту предательскую печать старости. Почему именно правая рука? Не оттого ли, что устала держать кормило власти? Пожалуй, прошло время, когда он открыто мог гордиться изяществом линий, стекающих к замку-запястью, замыкающему стальным хватом бугрящиеся тропинки мышц. Его руки нравились женщинам. Но теперь? – вряд ли; он давно уже не слышал комплиментов – может быть потому, что в его жизни теперь не было *женщин*, он не мог позволить себе прежние вольности, ведь он стоял на страже морали.

Напольные часы в дальнем конце огромного кабинета пробили восемь, взломав тишину долго не стихающим колокольным гудом. Он выключил настольную лампу и перевёл взгляд на окно. Солнце, ещё скрытое горами, но с минуты на минуту обещавшее ударить из-за хребта залпом первых лучей, сейчас окрашивало восточную часть небосклона расплавом охры, сурика и черни, исподволь готовясь окунуть мир в холодную светлую лазурь.

Он всегда встречал солнце лицом к лицу. Ничто, даже экстренные совещания, порой длившиеся ночами, не могли помешать ему подставить лицо и грудь первому, бьющему в упор лучу солнца; он часто думал, что с такой же радостью принял бы вспышку ружейного залпа, если бы не мерзкий обычай нынешних застенков убивать выстрелом в затылок. Ублюдки! Кто из них может похвастать, что отменил смертную казнь? Что искоренил преступность – лишь только тем, что, поставив под ружьё, дал молодёжи выход для её копящейся неумной энергии. Есть только одна истинно великая держава, достойная того, чтобы учиться у неё государственной мудрости. Как бы ни поносили её кретины антисемиты, она воочию показала каким сплочённым становится народ перед лицом внешней опасности. Нация, говорит Ортега, это каждодневно возобновляемый плебисцит. Что ж, это справедливо, трудно что-нибудь возразить. Но ведь всё упирается в человеческий материал, одному богу известно что роится в головах, не затронутых размышлениями, а лишь торчащих с раннего детства перед экранами телевизоров, наполняющих души унынием и пустотой. Какая буря поднялась в парламенте, когда он своим указом запретил демонстрацию фильмов, пропагандирующих секс и насилие! Какие слёзные причитания об удушенной свободе! О попорченной демократии. Демократия! Что смылила в ней жалкая кучка недоумков, ввалившихся во Дворец после очередного неудачного «плебисцита»? Они только и умели что затевать драки в президиуме и паясничать перед телекамерами. За полгода ни одного порядочного закона, кроме толстого перечня собственных привилегий. Он ничуть не жалеет о своём шаге, хотя и стоившем ему бессонных ночей, но очистившем политическую атмосферу подобно тому, как очищает и освежает воздух грозовой разряд. По крайней мере, он не палил из танков по людям, каким бы сбродом ни казались они ему и как бы ни досаждали своей глупостью. Он распустил их по домам в полном согласии с Конституцией.

И что же? (Отделанные морёным дубом стены порозовели: солнце вспыхнуло раньше и не там, где он ждал его, а чуть южнее по линии хребта – он не учёл того, что несколько дней уже не встречал рассвет во Дворце.) Опять устраивать выборы? Чтобы новая генерация бездельников оседлала народ, пользуясь его безграмотностью и нищетой? Нет, он не для того понёс этот крест, чтобы дать себя сбить с пути, предначертанном ему судьбой, пути, продуманном до мельчайших деталей; в конце его он видел отнюдь не себя на гранитном пьедестале перед фасадом Дворца, а только лишь свой просвещённый народ, охраняемый сильным государством. Он искренне верил в просвещённую диктатуру.

Он встал из-за стола, подошёл к окну, распахнул его. В комнату ворвался воздух, напитанный запахом цветущего миндаля. Сегодня даже великолепии рождающегося мира бесильно было пробудить восторг, часто охватывавший его при виде столь властной, пронзающей красоты. Большинство своих сочинений он обязан ныне утраченной способности восторгаться перед лицом жизни, облачённой в тогу бессмертия. Мир, говорит Декарт, каждую секунду творится заново. Время дискретно, и если сейчас ты есть, то в следующую секунду можешь не быть. Бытие нерасторжимо с мыслью, оно само и есть мысль, и если ты мыс-

лишь, можешь сказать себе: «Я есть.» Лет десять назад он, вероятно, устремился бы к письменному столу, чтобы немедленно записать стихами это нечто, пока ещё не оформившееся, но явственно проникнутое опущением глубины. Но теперь... Хватит того десятка изданных томиков, что стоят позади него за стёклами шкафа, тех девяти с половиной фунтов (он однажды в шутку взвесил собрание своих сочинений – потом они долго смеялись), максимум (?) сколько он хотел бы ещё написать... Он задумался. Сколько? Счёт пошёл на унции, граммы. Поэтический дар покидает и, вероятно, скоро покинет его. Всё, что он написал за последние годы, пронизано чувством вины и достойно лишь того, чтобы пылиться в личном архиве. Может быть, только «На смерть матери»... Но кому это нужно, кроме неё самой, её души, витающей где-то неподалёку, прикованной любовью к единственному сыну, страдающему от сознания непоправимой, безысходной вины: она умерла внезапно, а он, поглощённый государственными делами, не был рядом, не держал её руку в своей, когда она ступила за край..

Он никогда не был нежен с ней, знал, что она этим печалится, но только теперь, осознав до конца меру своего молодого эгоизма, испытал глубокие отцовские чувства, понял, что переживала она в своём одиночестве, именуемом старостью. Наверное, так остро жалящее чувство вины есть неминуемая расплата за чёрствость, которой защищается душа от покушений на свою независимость. Сильные духом инстинктивно оберегают себя от «сантиментов», угрожающих Самости, способных поколебать уверенность в правоте собственного пути.

Вошёл Бранко. Нет, сегодня ещё рано. Он проспал дольше обычного, документ не подписан.

– Они ждут, господин Президент.

Ничего, подождут. Надеюсь, под плащом у тебя нет ледоруба, мой преданный Бранко, если бы ты знал, как это страшно подозревать, опасаться даже тех, кому, в сущности, веришь, как самому себе. Ты, конечно, догадываешься: я всегда становлюсь у раскрытого окна так, чтобы правая створка отражала входную дверь, я вижу тебя, хотя отлично понимаю, что в этом нет никакой надобности, вряд ли существует надёжный способ избежать покушения. Но когда начинаешь подозревать соратников – дни твои сочтены.

– Совет Безопасности назначен на девять, но они уже собрались, господин Президент. Они ждут в Малахитовом зале.

Какая, однако, спешка.

– Иди, Бранко, и скажи им: документ подписан. Скажи, что я не совсем здоров и выйду к ним ровно в десять. Иди, иди.

Скрылся так же неслышно, как вошёл. Славный Бранко! Пожалуй, внуки забрали у него самое лучшее: славянскую статью, в которой неуловимо сочетаются молодая гибкость пшеничного колоса и былинная мощь древних родов. Ему повезло с зятем. Чего не скажешь о дочери. Вот уж где, право, нестихающая зубная боль. Всё то же чувство вины, осложнённое неприязнью, как бы возводящей эту вину в квадрат и окунающей душу в чернильную горечь. С тех пор как она сбежала на Запад и начала эту неуместную кампанию за восстановление демократии, он со стиснутыми зубами заставлял себя просматривать утренние газеты и всякий раз, наткнувшись на её пропагандистские речи, поражался тому упрямству, с которым она в прямом смысле слова толкала в могилу собственного отца. Вот кто мог поспорить с ним страстностью и несгибаемостью. Оставить двоих детей ради (видит бог, неправого!) дела – для этого надо обладать горячей кровью. Воистину, дети наследуют у сонма предшествующих поколений. В его роду было много борцов за справедливость, хотя каждый из них понимал её по-своему. Если чего-то и не хватает Бранко, то вот именно страстности, он слишком мягок, не будь он таким, мог бы стать хорошим преемником – до тех пор, пока не подрастёт внук.

Монархия? А почему бы и нет? Разве мало вдохновляющих примеров? Кто как не просвещённый монарх, свободный в силу своего положения от корысти и страха перед завтрашним днём, сможет больше чем кто-либо заботиться о своём народе? Кто сможет дать ему по-

настоящему действенную конституцию, не боясь, что она ударит по нему самому? И разве не самые страшные режимы родились во чреве так называемой демократии? Только абсолютная власть делает свободным для совершения великих преобразований, ничто иное. Но тяжёлый путь к ней...

Он отошёл от окна и снова приблизился к столу. Папка из голубой кожи теперь светила в дымящемся луче солнца как маленькое озерцо. Таким безмятежным выглядит часто кратер вулкана. Этот мягкий ошмётток сейчас таил в себе столько же коварства и необузданной силы. Как, в сущности, легко вершится власть! Несколько росчерков пера – и «кляча истории» взбрыкнёт молодой лошадкой и понесёт невесту куда. Прав был русский поэт: нет ничего проще – загнать её, достаточно отпустить поводья. Вся так называемая мировая история – это история преступлений и массовых убийств. Единственная подлинная история – человеческая жизнь. Если бы можно было записать биографии всех когда-либо живших на земле – вот тогда бы составила История.

Он подумал о сыне. Мальчик прав: самая почётная миссия – обустроить «башню из слоновой кости» и поселиться в ней, закрывшись от мира чем-нибудь полупрозрачным, и чтобы Мир забыл о тебе, забыл твоё имя, как он забыл имена древних китайцев, однако храня их бессмертные творения. Первым что он сегодня подпишет, будет реформа образования. По всей стране будут создаваться закрытые учебные заведения для избранных – не происхождением, но талантом. Он пригласит лучших умов Европы и Америки, чтобы сделать гуманизацию просвещения реальностью, а не только красивой сказкой, где его авторство отпечаталось так ярко, что уже в проекте народ окрестил программу Президентской. Пусть так, ему нечего на это возразить, да и нет желания. Пусть недруги называют его Великим Магистром, они преисполнены иронии по поводу задуманных им преобразований и уже видят страну этакой новой Касталией, – они уже забыли о реформе военной, ещё раньше сделавшей их небольшую профессиональную армию сильнее многих на континенте. Тогда они критиковали его за принципиальный отказ от ядерного оружия, а ведь если история чему-то способна научить, то это банальнейшей из истин: настоящая сила произрастает не на стали и огне, а на хлебе и мясе, да ещё, пожалуй, твёрдости духа.

Прежде чем сесть за стол и начать работать, он вернулся к окну. Теперь его взгляд не блуждал по исчерченной дорогами, разграфлённой виноградниками долине, по горным склонам, местами подёрнутым белёсой дымкой, по красноватому профилю хребта – теперь он вглядывался в предлежащую зелень парка, где подспудно копилась энергия, ведомая лишь ему одному: то там, то здесь мелькали среди деревьев маленькие фигурки в камуфляже, как будто невидимой рукой переставляли солдатиков в детской игре, создавая для противника «матовую» ситуацию. Чёрным жучком подползал к ограде БТР, за ним второй, третий.

Он сел за стол и раскрыл голубую палку. Быстро пробежав глазами, отложил в сторону первый лист из груды требующих подписи. Несколько строчек на белом поле выстреливали в упор, заставляли на мгновение замереть всякий раз, когда сквозь обтекаемые формулировки прорывался чудовищный в своей бесчеловечности смысл. Какое, однако, восхитительное упрямство! Четвёртый день кряду эта бумага подминает под себя всё, неизменно оказываясь наверху. Славный Бранко! – он даёт понять, что продолжение тяжбы по меньшей мере бессмысленно, пора наконец решиться и поставить жирную точку после того как нетвёрдой рукой (скажется бессонная ночь) он распишет под этим Указом. Под *этим*? Шутить изволите, господа. Под этим вы никогда не увидите моей подписи. Даже если будете сутками дежурить в приёмной или там где вы сидите сейчас в ожидании «торжественного момента». Вы думали, у вас будет ручной президент. Не отрицаю, вы поддержали меня в решительную минуту, когда завязанный Парламентом гордиев узел потребовал острого топора. И вы решили, что явитесь достойной сменой отправленным в отставку болтунам и клоунам. Здесь вы ошиблись. Моя идея создать Совет Безопасности произрастает на другой почве, о которой может

быть и догадывались некоторые из вас, но уж никоим образом не простирали свою убогую фантазию так далеко, чтобы разыграть эндшпиль. Теперь мне не надо разыскивать вас поодиночке, беспокоить полицию, ужесточать пограничный контроль – все тринадцать, наиболее влиятельные лица в государстве (не скажу, простите, самые умные) сидят в своём излюбленном Малахитовом зале и ждут, когда их ставленник-президент любезно преподнесёт «на серебре» вождьеленный Указ.

Он положил перед собой чистый лист и от руки набросал распоряжение. Сегодня с девяти ноль-ноль Совету Безопасности вменялось прекратить деятельность и сложить полномочия. Он посмотрел на часы, оставалось ещё пятнадцать минут. Они войдут одновременно – Бранко и генерал Суджа с тринадцатью ордерами на арест.

Странно, чем более решительности в душе, тем больше дрожит рука. Проклятая бессонница! Впрочем, сегодня он, кажется, немного поспал, если можно назвать сном это забытьё, когда картины прошлого, выстраиваясь в какой-то причудливый, алогический ряд, перемежаются короткими связками-сновидениями, придающими всему пережитому ирреальный оттенок. Недавно ему – приснился? привиделся? – маленький эпизод детства. Ему было девять или десять лет, его отправили в деревню отбывать каникулы – занятие в общем-то приятное, когда б не комары, всегда питавшие к нему особую склонность. В день поминовения усопших с гор подул сильный ветер, он обломил шест, на котором был укреплен дедом скворечник. Птичий дом рухнул на утрамбованную до твёрдости камня площадку хозяйственного двора и разбился вдребезги. Четырёх изуродованных окровавленных птенцов он похоронил на выгоне под старой ветлой и каждый год потом навещал это маленькое «кладбище», заново переживая давнее потрясение. Возможно, что именно то детское впечатление от созерцания реальной смерти побудило его отменить смертную казнь. А теперь эта чёртова дюжина, возомнившая себя властью, толкает его на массовое убийство мирных жителей своей же страны. Сколько времени он потратил, доказывая абсурдность их плана! Депортация населения целой провинции чревата сотнями, может быть, тысячами трупов – женщин, детей, стариков. Пусть они исповедуют другую религию, но ведь он-то никогда не придавал значения религиозным мотивам, смеялся над всеми и всяческими «божественными бреднями». К тому же известно: участие армии всегда оборачивается «случайно» раздавленными, застреленными, зарубленными. Нет, он не пойдёт на то чтобы использовать демографическое оружие. Как бы ни досаждали закордонные «единоверцы» своими неуклюжими попытками оторвать этот лакомый кусочек от их исконных земель. Вошёл Бранко.

– Ваша жена, господин Президент.

Вот кто ему не нужен сейчас! С другой стороны, в такие моменты нельзя оставаться одному. Разумеется, лучше, если б она разделяла его планы, и всё же никогда, он уверен, она не станет рядом с дочерью (он снова поморщился как от зубной боли), чтобы вести войну против того, с кем прошла по жизни. В брачной лотерее ему повезло.

– Подойди сюда, Бранко. Возьми вот это. Ровно в девять ты войдёшь в Малахитовый зал и считаешь его так называемому Совету безопасности. Перед входом тебя ждёт генерал Суджа, он войдёт вместе с тобой. Иди,

Молодец, Бранко. Ни один мускул не дрогнул на твоём лице. Ты давно этого ждал, верно? Надеюсь, твоя мягкость не мешает тебе сегодня прочитать эти несколько строчек твёрдым голосом – у тебя красивый тембр! Если ты станешь моим преемником, народ полюбит тебя за одно только мужественное лицо – чернь обожает актёров. Перед тем как передать тебе власть я прикажу по всей стране крутить фильмы с твоим участием. Успех гарантирован! А ведь ты ещё и умён, и хитёр, и смел. У меня была возможность убедиться в твоей храбрости. Надеюсь, мой внук унаследует её от тебя.

Когда она вошла, он сидел, откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами, стиснув пальцами деревянные подлокотники до белизны в суставах. Она подумала: так цепляются

за выступ скалы чтобы не сорваться в пропасть. Восковое лицо, маска потусторонности, налагаемая бессонницей. С тех пор как он стал всё чаще проводить ночи во дворце, неуловимая дымка страха разграничила их тела, день ото дня становясь, однако, плотнее, осязаемее, грозя превратиться в нечто непроницаемое – стекло, покрытое морозным узором. Ещё продышав «окошко» можно посмотреть друг другу в глаза, но для тёплых прикосновений путь закрыт. Тела мертвеют, им уже не хватает внутренней энергии, чтобы растопить лёд на стекле, и души перестают видеть одна другую. Если ты отпустила от себя мужчину, рано или поздно образ твой померкнет в его душе – тогда нужна хирургическая операция.

– Ты не спал сегодня?

Он открыл глаза. Наверное, привычки неистребимы – что бы ни случилось, первым объявляется на посту неподкупное «да – нет»: сегодня оно расписалось в тотальном признании – Никта была в сиреновом дорожном костюме с белоснежной кружевной оторочкой по воротнику и рукавам «три четверти». Её лицо и руки покрывал нежный морской загар – всего лишь час назад она прилетела из Ниццы, где провела неделю, обустроивая новый, недавно купленный дом. Это была её причуда, одна из многих, – но ведь он никогда ни в чём не отказывал ей; возможно, поэтому их брак оказался таким прочным, его не смогли поколебать даже увлечения, которым они оба отдали немалую дань на протяжении этих тридцати лет «совместной борьбы» – так она в шутку называла их брачную эпопею. Ничего странного, оба они были – в теории – противники моногамии, и только «несовершенство мира» (говорила она) заставило их следовать по пути общепринятого; он, впрочем, никогда не объявлял о своих «сексуальных убеждениях» – и без того известны мужские склонности, зачем говорить о них? Однако за тридцать лет проросли друг в друга, стянутые семейным обручем, усмирённые души, и образовалось нечто новое, чему нет названия, хотя заведомо ясно, что удел сей достаётся многим. В последнее время он часто думал об этой подкравшейся исподволь зависимости (если не думал о делах государственных), пытаясь представить себя лишённым поддержки, в этой зависимости странным образом заключённой. Он знал: Никта переписывается с дочерью; в этом как бы тлела надежда на понимание или, по меньшей мере, на то что политика и семья останутся разными континентами, разделёнными – водной, горной – преградой, преодолевать которую ни у кого не достанет ни сил, ни охоты. Надежда питалась пожеланиями здоровья, непременно содержащимися в каждом послании и адресованными лично ему, «папе», иногда – кто бы мог поверить! – даже упакованными в мягкое кружево бесплотных поцелуев. Но никогда «ты», ни одного прямого обращения, ни одного письма с перечнем политических обвинений и угрозами, наполняющими её выступления в прессе, по радио, на телевидении. В этом «политическом раздвоении» он угадывал тайный замысел: если в двух зеркалах перед собой ты будешь видеть изо дня в день совершенно разных людей, то поневоле начнёшь сомневаться – кто из них настоящий? Ни для кого не секрет, что политика – предприятие оборотней. Она как будто специально придумана для актёров, обожающих роли доктора Джекиля и мистера Хайда. Только гибнут на этой сцене всерьёз. Но ведь он не такой, он вообще не актёр. Не политик? Возможно, так. Возможно, это и хочет показать ему дочь, поставив перед ним два исключаящих друг друга изображения, одно из которых – его Я, каким оно видится из «башни Самости», а второе – набивший оскомину персонаж дешёвых триллеров, этакий Терминатор, починяющий на столе свой собственный кибернетический глаз. Ничего не скажешь, по законам оптики изображение получается на редкость объёмное.

Никта присела на край дивана, поставив на колени маленький саквояж, по форме напоминающий кофр. Его всегда восхищала её готовность. Во всём, даже в услугах тела, исповедующего преданность влюблённой страстно душе, но честно отрабатывающего условия брачного контракта. Беспрекословно повинующегося предписаниям чужой эротической фантазии, отнюдь не только, он догадывался, его собственной. Сегодня он, кстати, покончит и с этим.

– Как ты поступишь с ними?

Спросила всё-таки, не удержалась. Дело обычное – сдают нервы. Её всегдашняя обаятельная невозмутимость на этот раз бесславно отступила.

А что, правда, он с ними сделает? Арест, заключение под стражу – это лишь первый шаг, рубеж, после которого должны последовать другие действия. Какие? Ведь это и рубеж в наступлении его собственной власти. Рубикон, который он перейдёт сегодня или погибнет. История оправдала Цезаря, оправдает и его. Даже если река вниз по течению окрасится бурым от пролитой крови. (Как часто, подумал он, поэтические метафоры приносят на своих нежных крылышках вещи серьёзные! Кажется, Малларме сказал: мы пишем не идеями, а словами.) Нежданная мысль о *крови* заставила его вздрогнуть.

Так же, как они поступили бы с нами, отними власть.

Побледнела. Потому что знает: политика – дело кровавое. Почти такое же, как стихоплётство. С той только разницей, что пишешь собственной кровью, а в «политических триллерах» готовишь похлёбку из вырванных языков. Видит бог, они сами толкнули его на это. Возврата нет. За спиной сомкнулась безгласная толпа, влекущая к горловине лязгающего, вбирающего тела гигантского эскалатора. Похоже на ощущение, которое охватывало его раньше при входе в подземку в часы пик: не страха, но обречённости. Вниз! Вниз! До сих пор в ушах его звучали возгласы бегущих в подвал по лестнице их старого дома на Славутинской. Вой сирены, истеричное тьяканье зениток, раскаты близких фугасов. Он хорошо знал, что такое война. Если он сохранил им жизнь, эти тринадцать «апостолов» развяжут гражданскую войну.

– Ты этого не сделаешь!

Он прислушался к интонации, пользуясь коротким эхом, прокатившимся через замкнутое пространство. Пожалуй что конец фразы похож на восклицание. Почему она так думает? Не верит в его способность к решительным действиям? Или, напротив, слишком верит в гуманность? Но разве не очевидно, что политик совершает свои поступки в пространстве смерти? Впрочем, как и поэт. Искусство и политика – вот два пути, которые открываются перед нами, когда мы отправляемся на поиски смерти – чтобы укрыться от неё. Ведь прятаться от смерти, говорит Бланшо, то же самое что прятаться в ней.

– К сожалению!

Когда нарыв созрел, достаточно сделать лишь маленький надрез, чтобы накопленное больными, бессонными ночами, перебродившее в крови, рвущееся наружу, отторгаемое здоровым телом, чтобы всё это выплеснулось; тогда – если выплывешь, не захлебнёшься отвратительной зловонной жижей – ощутишь лёгкость, какую, должно быть, испытывает младенец, когда воздух впервые надувает его стиснутые утробой лёгкие. Для этого даже не надо брать скальпель. Просто-напросто однажды утром, во время бритья, рука, старавшаяся тщательно обходить больное место, дрогнет, зацепив уголком лезвия побелевшую от натяжения кожицу – так случаются оговорки, описки: кто-то подсовывает нам не то, что надо, полагаем мы – и ошибаемся, потому что этот «кто-то» – мы сами, спрятанные, спрятавшиеся под оболочкой «долженствования». Делаешь то, что не должен делать, – будто оправдываешь пресловутое «стремление к смерти». Ибо нет ничего более «законного» в этом мире, чем смертельная ошибка.

Последнее время он часто думал: как происходит выбор? Пожалуй, ничто другое, кроме политики, не подвержено так «душевному заболеванию» – усталости, возбуждению, гневу, радости, состраданию, страху, подавленности, тревоге, стыду, ревности... и бог знает чему ещё.

Именно тревога, накалявшаяся вот уже несколько недель, казалось, вместе с полуденным, потускневшим от безветрия, одышливым солнцем, – тревога неудержимая, как молодая страсть, принудила его попросить жену увезти сына. Всего на несколько дней – ведь мальчику давно хотелось увидеть их новый дом. Тем более, он никогда ещё не был за границей.

– Зачем ты вернулась?

Ничего удивительного – ошибки множатся с энергией камнепада. Первая состояла в том, что немедленно по приходе к власти он не отправил сына в Оксфорд. Несчастный идеалист!

Такой же, как этот писака, придумавший Касталию. Вторая: не принял меры к их «домашнему заточению» – там, на Ривьере, каковую всё чаще примеривал к себе на случай мирного ухода в отставку. Или военного отступления, почётной ссылки. Или просто бегства.

И вот теперь, вернувшись одна, без сына, Никта тем самым подала знак врагам – если не о времени, то по меньшей мере о самом факте, замысле его государственной «перестройки». (Ему нравилось как звучит на языке-прародителе это слово, покоровившее мир и так хорошо лежащееся этикеткой на любое зелье.)

– Не беспокойся за него. Роберту понравился дом и парк, и особенно яхта. Он с твоим любимцем Исой.

Ещё бы! Не хватало притащить ребёнка накануне событий. Она думает, что ей позволено было бы это сделать. Нет более преданных и надёжных телохранителей, чем кавказцы. Исмаил Хаджиев скорей увёз бы мальчика в Турцию, чем отдал легкомысленной матери. Яхта, говорят испанские рыбаки, не роскошь, а средство передвижения.

Впрочем, она ещё и упряма. Для её домашнего ареста нужен взвод солдат, не меньше. И всё же для успеха дела их надо было бы вызвать ещё вчера – всех: показать этой подозрительной своре, что им нечего опасаться, – ведь его нежная любовь к сыну известна всем. Никому бы не пришло в голову, что он способен подвергнуть мальчика опасностям, которыми чреватые политические метаморфозы такого сорта. Политик или не должен иметь семьи или уметь ставить на карту собственных детей, даже если проигрыш почти неминуем.

Понимает ли это Никта? Не означает ли её неожиданный приезд именно попытку обезопасить этот шаг над бездной, каковая суть глубина всех земных «рубиконов»? С другой стороны, если бы она действительно, по-настоящему стремилась к тому, то ни один, даже самый неистовый кавказец не смог бы воспрепятствовать её воле, и сейчас Роберт был бы здесь, рядом. Очевидно, женщины так редки в политике именно потому, что не способны перешагнуть через свои материнские чувства. Они могут пожертвовать собой, но – не детьми. Не любовью.

Часы в дальнем углу кабинета издали характерное шипение, предвещавшее первый удар. Он посмотрел на дверь. Поскольку она не подавала признаков жизни и с тем же равнодушием выслушала девять гулких раскатов, и молчал телефон, он выдвинул нажатием кнопки потайной ящик в торце стола, обращённом в сторону, противоположную двери. На дне его на поролоновом матрасике лежал автомат Калашникова. Стоящим у входа – проверено – тайник не виден, зато ему требуется секунда чтобы, слегка нагнувшись, левой рукой подхватить воронённый ствол и открыть огонь.

Чёрт возьми, всё это уже было. Гарри Морган, Сальвадор Альенде... Подумав, он задвинул ящик обратно. Резюме: если ты хороший поэт, не занимайся политикой, всё равно ничего не выйдет. Подведёт твоя же собственная чувствительность. Только бездарности вроде того боснийского комбатанта могут так долго держаться на плаву, получая вместе с оружием литературные премии от восточных единоверцев.

Президент был хорошим поэтом.

– Он знает, что ты приехала?

Ну, разумеется. Было бы странным случайно не встретиться в коридоре. На лестнице. В курительной. Где там они встречались? Ну, хорошо, – где *он* обычно поджидал, чтобы вручить тебе очередное страстное послание? Смешно, конечно, ревновать в нашем возрасте. И к кому? К ничтожеству, которое сам же я вытащил из партийной клоаки и сделал секретарём Совета лишь в расчёте на то, что его двухметровый рост, квадратная челюсть и громовой рык обманут двенадцать других таких же ничтожеств и помогут им принять клоуна за Дантона. Я, пожалуй, недооценил его в одном – в умении сделать Совет Безопасности самым опасным предприятием в стране. И ещё – в уровне притязаний. Не только сесть в президентское кресло, но и улечься в его постель – замысел, достойный Политика с большой буквы. Впрочем, от его

так называемой любви не останется и следа, – как только он разделяется со мной, тебя, Никта, отправят на погребальный костёр – сопровождать мужа в загробных странствиях.

– Я тебе верю, Никта. Я всегда тебе верил. Может быть, это была моя ошибка. И всё же: несмотря на молодость, а возможно – скорей всего – именно благодаря ей, он опаснее всех твоих фаворитов. Молодости несвойственно дорожить чувствами, даже если они чистойшей воды. И поэтому холодное с поминального стола вряд ли пойдёт на свадебный. Не обольщайся – только власть оставляет след в сердце мужчины, а в сердце женщины...

Он не успел закончить фразы. Открылась дверь и вошёл генерал Суджа. Один. Это был знак – Бранко мёртв или арестован. Президент тяжело поднялся и вышел из-за стола.

– Я к вашим услугам, генерал.

– Прошу прощения, господин Президент.

– Не стоит извинений, генерал. Армия вне политики. Знаете, что это означает? Лишь то, что военные мозги не способны мыслить политическими категориями. Излишества бодибилдинга атрофируют умственные способности.

– Вы арестованы, господин Президент.

– Спасибо, генерал. Я не нуждаюсь в суфлерах. Идёмте.

– Не хотите попроситься с женой?

– Да, конечно. Прощай, Никта.

Даже не посмотрел в её сторону. Зачем? Они ещё непременно увидятся, и даже слишком скоро. А то, что не посмотрел, – пусть это будет маленьким упрёком – за всё.

Их расстреляли на рассвете следующего дня. Судили по Закону от Первого Декабря 1934 года (слушание дела заканчивать в срок не более десяти дней, обвинительное заключение вручать за сутки до рассмотрения дела в суде, слушать без участия прокурора и защитника, кассационных обжалований, ходатайств о помиловании не допускать, приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно), по странной случайности не отменённому со времён тоталитаризма. Когда их поставили у кирпичной ограды, они взялись за руки. Ночная прохлада высушила пот на лице. Рука жены была холодна, как лёд. Он подумал, что писал, вероятно, для того, чтобы принять смерть с удовлетворением.

Его дочь Рамнузия осудила путчиков. Спустя год с когортой преданных солдат и гладиаторов она пересекла границу не однажды проклятого отечества и двинулась к его сердцу. Полки директории без сопротивления переходили на сторону «законной власти» (каковую бирку навесили западные средства массовой информации – подумать только! «олицетворению Судьбы»). Ей ничего не было известно об участии мужа и малолетних детей, и прошло ещё много времени, прежде чем спецбригада следователей обнаружила тайное захоронение у одного из так называемых полей аэрации. Исследование останков подтвердило предположение: это были внуки Последнего Президента и их незадачливый отец, в своё время отказавшийся бежать из страны, покотившейся к диктатуре.

Будучи предана идее справедливости, Рамнузия предложила короноваться брату-«касталийцу», но получила категорический отказ, сопровождаемый, правда, «тысячью благодарностей».

Тогда, идя навстречу пожеланиям «трудящихся Рамнунта», на трон взошла Королева.

Она взяла себе имя Немесиды. Но это не принесло ей счастья. Через три года, семь месяцев и четыре дня она была застрелена в дворцовом саду собственной охраной. Так было положено начало новой Смуте.

Кодекс чести

Невлюбившая меня власть рухнула так же внезапно, как народилась на свет. Но ещё до того я выбрался из убежища и принялся улаживать пошатнувшиеся дела. При желании можно спрятаться от любой власти – вопрос в том, чтобы не порвалась нить, связывающая с домом и по истечении срока способная вывести из лабиринта. Моим Убежищем-Лабиринтом стал Океан: я плывал. Я использовал способ древнейший, описанный в тысяче книг, из которых многие бессмертны и потому как бы передают наследственную информацию: если ты убил человека, подавайся в ближайший порт и наймись матросом на судно, уходящее в плаванье завтра на рассвете. Я не убивал, я его только немного поколотил а уж если быть точным – раз ударил, правда, вложив в это действие недюжинную энергию. Человек этот был моим непосредственным начальником. Кому доводилось ненавидеть своего начальника, знает каких чудовищных размеров может достигать ненависть, какие страшные формы обретать и во что, как говорят учёные медики, сублимироваться. Если ежедневно газеты не преподносят нам истории ужасных расправ подчинённых над своими «руководителями», то лишь потому, что чаще всего возрастающая в таком саду ненависть сублимируется в некое странное, извращённое наслаждение: мы ежедневно убиваем своего антипода – в душе. Недаром сказано: высшее наслаждение – это наслаждение от убийства. (Читайте классиков!)

Кроме того, я ещё «нарушил режим» («утратил секретные документы»), а это тем более призывало на мою голову неотвратимую и, по всему, суровую кару, избежать которой я не видел иного способа, как по-настоящему податься в бег. Как только власть немного ослабилась (слегка подкупленная в лице районного прокурора) и сменила мне меру пресечения на «подписку о невыезде», я немедленно сел в машину и рванул на юг. Там ещё было тогда спокойно.

Итак, меня загрузили в автомобиль прямо на выходе из СИЗО (улица Матросская тишина – очаровательный уголок старой Москвы!) в спортивном костюме, но зато с паспортом и туалетными принадлежностями в пластмассовом пакете; я улёгся на заднем сиденье, завернулся в старое солдатское одеяло и заснул беспокойным сном напроказившего ребёнка. Все дни, что я пробыл в тюрьме, меня донимала бессонница.

За рулём старенького «волгара» сидел мой друг и сподвижник, человек надёжнейший, прошедший, как говорят, огни и воды и теперь вот взявшийся вдобавок сопроводить меня через «медные трубы», и это был подвиг с его стороны, потому что сам он только что вышел из больницы, где залечивал недуг, приобретенный, однако, по неразумию – нашему всеобщему «сдвигу», в основе которого лежит застарелая ксенофобия: многие годы мы выковывали «оружие возмездия» – такое не проходит бесследно.

Два дня и две ночи, поочерёдно меняясь за рулём, мы трусили к югу с короткими передышками и, наконец, порядком измотанные, прибились к воротам судостроительного завода «Океан» в старинном городе Николаеве.

При советской власти легко жилось тем, кто располагал «связями», – так можно обозначить клиентуру некоего чёрного рынка, на котором переходили из рук в руки «доходные места» – государственные должности. Они вовсе не обязательно продавались, как места на базарах; чаще всего связи были обыкновенным приятельством, нередко дружбой, а то и просто задавались принадлежностью к одной картёжной или питейной компании. Когда ты устраивал на работу человека, решающим были рекомендации: именно *кто* рекомендовал и лишь во вторую очередь – *как*. Твой друг честно мог признаться, что его протеже с неба звёзд не хватает, но ведь и ты будешь платить не из своего кармана; а чего не сделаешь ради дружбы! Как, например, не войти в положение, когда присланная красотка («Старик, я подошлю тебе тут одну девчущку, не против?») проживает поблизости от вверенного тебе предприятия (лабо-

ратории, отдела), а твой друг обретается на «фирме» где-то у чёрта на рогах, и бедная женщина, сослуживица его, вынуждена тратить на дорогу больше часа только в один конец. Возможно, от неё просто хотят избавиться, и причины тут могут быть самые разные – нерадивость, неуживчивость, тупость, интимный разлад с «шефом», – но об этом никогда прямо не говорится: кодекс чести, правящий здесь, предусматривает определённую степень риска.

В тот раз моими всеми рекомендациями был единственно во плоти присутствующий старый друг и наставник (даже по тем временам обладавший связями поистине грандиозными). Он позвонил из проходной, и через несколько минут к нам вышел не кто иной как собственной персоной директор завода, один из столпов военно-промышленного комплекса, глава этой маленькой «оборонной империи, раскинувшей свои владения по берегам Бугского лимана. На глазах у потрясённой вахты фронтовые друзья обнялись и расцеловались. Потом с коротким властным «ко мне», брошенным походя сторожевой будке, мы были продавлены через турникет без намёка на какие-либо формальности и вскоре очутились в огромном директорском кабинете. Пока они обменивались репликами, призванными подправить слегка поистлевший мостик «от сердца к сердцу», я подошёл к окну – одному из четырёх больших, многосвязных отполированных до блеска зеркал – и в искажённой их лёгкой дрожью воздушной перспективе посмотрел на мир, открывавшийся мне теперь новой, дотоле неведомой гранью. Если оставить в стороне ширь земельных владений, то самой живописной провинцией был тут несомненно причал с шеренгой портовых кранов – они походили на гигантских доисторических птиц, в непонятной грусти склонивших к земле свои маленькие головки на длинных переломленных шеях, вырастающих из могучей четырёхпалой жирафьей стати. В их окружении стоял у стенки красавец «двенадцатитысячник», блистая арктической белизной палубных надстроек на фоне блеклой голубовато-серой лиманной глади и жёлто-зелёной полосы дальнего берега. Мой будущий дом, моя тюрьма и убежище в одно время. Я и представить себе не мог, сколько дней, месяцев, лет проведу на нём и как наконец полюблю этого несчастного раба, вынужденного служить несправедным целям. Не называю тут его имени, дабы не потревожить ещё живых участников той «большой игры» и не бросить тень на всю так называемую «науку», провозглашавшую целью своей «раскрытие тайн Мирового Океана», но правильной было бы сказать – его рекогносцировку как поля грядущих битв.

«Научный корабль» – вот что он был такое. Правда, в плаванье уходил не на рассвете и даже не завтра, ещё предстояли так называемые приёмные, ходовые и прочие испытания; однако момент оказался весьма удачным – капитан набирал команду. Я приготовился увидеть морского волка с прокалённым тропиками, продубленным ветрами лицом, гиганта со шкиперской бородой и пенковой трубкой в зубах. Каково же было моё разочарование, когда вошёл коротенький толстый человечек, которого своим тренированным глазом я немедленно поместил в категорию «запойных». Чёрный рынок доходных мест функционировал безотказно.

Нас познакомили. Первое впечатление скоро затушеввалось другими – благоприятными: капитан сказался воплощением радушия и готовности и сразу предложил мне место главного инженера технической группы. Я был стреляный воробей и мог легко догадаться, что всё «главное» требует непременно утверждения в вышестоящих инстанциях и может повлечь за собой «режимные проверки»; поэтому я отверг лестное предложение, сославшись на нежелание брать на себя ответственность. Капитан, разумеется, что-то понял, но вопросов лишних не задавал, и мы сошлись на скромной должности инженера-акустика.

На столе появился коньяк, мы выпили. Это маленькое служебное (по тем временам) преступление как бы связало всех нас круговой порукой. Поговорили о предстоящих госиспытаниях. И разошлись.

Я взял свой узелок, попрощался с фронтовыми друзьями (они, кажется, решили посвятить остаток дня военным воспоминаниям и уже навели с помощью коньяка порушенные «мосты») и пошёл за своим новым покровителем, преисполненный странного умиротворения

и растущей благодарности. За три с половиной месяца в Матросской тишине я не принял ни грамма алкоголя и теперь испытывал восхитительное чувство парения, какое, должно быть, испытывает подросток, впервые вкусивший запретного плода. Сломанная карьера, возможно, сломанная судьба, угроза поимки и нового заточения, семья, оставшаяся почти без средств к существованию (я, впрочем, надеялся регулярно высылать им свою зарплату), туманное, туманное будущее, – всё как-то съёжилось в уголке освобождённой от пут, распрямившейся души; я вспомнил чьё-то немудрящее наблюдение: освобождая от мира внутреннего, алкоголь выпускает в нас мир внешний. Светило солнце, ветерок доносил запахи близкого моря, водорослей, просмолённой снасти, солярки; дальние страны уже рисовались на горизонте и даже полузабытые, полустёршиеся из памяти нехитрые идейки по поводу «акустического зондирования сплошных сред» оживали, приподнимали свои жалкие личики и вопросительно заглядывали мне в глаза: остался ли я ученым или окончательно превратился в «беглого каторжника»? И я мысленно кивал им, подтверждая неизменность, неуничтожимость некой человеческой страсти – страсти исследователя.

Всё оформление свелось к тому, что мы ещё выпили в компании старпома, – он ведал кадрами, – я получил ключ от каюты, был препровождён туда лично капитаном и оставлен с пожеланием «приятного отдыха». Тотчас завалился в койку и проспал кряду восемнадцать часов.

Я проплавал на этом «научном судне» четыре года, и то была настоящая одиссея, о которой я ещё может быть расскажу, ибо как ничто другое она заслуживает подробного описания. Будем считать, начало положено. Пока это всего лишь неплохая, на мой взгляд, иллюстрация человеческих отношений, бывших весьма типичными при нашем тоталитарном строе и как бы преодолеваемыми, взрывающимися изнутри его стальные оковы. Несмотря на то что я скрылся, поправ беззастенчиво подписку о невыезде, никто по-видимому, всерьёз меня не искал; вероятно, тяжесть моего преступления была сочтена не столь заслуживающей «все-союзного розыска», чтобы тратить на него государственные средства. Мне кажется, интерес представляет то, что я назвал кодексом чести и ещё – чёрным рынком государственных должностей (отнюдь не в смысле уничтожительном), где упомянутый «кодекс» правит бал.

В глубине души я знал: рано или поздно вернусь домой и отдамся в руки властей.

За это время сын мой окончил школу и поступил в университет, дочь успела эмигрировать и вернуться обратно, а жена родила мне ещё одного ребёнка – мальчика, – через шесть месяцев после моего бегства, и мы назвали его по взаимному – телефонному – соглашению именем святого, чьему откровению с каждым днём приходилось верить всё больше.

Пробил час: страна беспокойно заворочалась, как отощавший медведь в берлоге накануне оттепелей. Но я бы наверно и дальше продолжал странствовать по морям, если б не телеграмма, известившая о некоем чрезвычайном событии, каковое, немедленно решил я, никоим образом не должно совершиться в моё отсутствие: старшего сына призывали в армию. Я взял расчёт, попрощался с командой и ближайшим рейсом вылетел в Москву.

Чтение, во множестве, эмигрантских газет, которому предавались мы на судне вопреки «идеологическому руководству» в лице первого помощника капитана, выправило наши мозги в их расположении относительно «проблемы Афганистана»; я был твердо намерен воспрепятствовать этому «военному маразму» (так я называл про себя нашу всеобщую воинскую повинность), хотя никакого конкретного плана ещё не имел и только судорожно перебирал в памяти имена старых друзей и просто хороших знакомых, каждое подвергая оценке с точки зрения «оперативных возможностей» и всё того же «кодекса чести»: *поможет – не поможет*. Приходилось констатировать с грустью, что о судьбе многих я не знал, потерял связь, а те, с кем до последнего дня поддерживал отношения, за четыре года могли поменять свои «доходные места» на другие, ещё более доходные, и таким образом, как говорится, смешать карты. Ведь чёрный рынок продолжал функционировать. Так или иначе, предстояла нелёгкая, кропотли-

вая работа. И я должен был провести её в кратчайший срок – до того как меня опять схватят и запихнут в кутузку. А что это произойдёт, сомневаться не приходилось. Всего лишь вопрос времени. Надеяться на чудо, конечно, возможно, и мы всегда на него надеемся, но всем известно, как редко случаются чудеса. Если моё «уголовное дело» уже закрыто, размышлял я на пути к дому, то единственно по причине перегрузки наших следственных органов. И ещё, может быть, их ротозейства.

Но в конце-концов, ободрял я себя, существует всегда один незыблемый аргумент – взятка. Именно ему обязан я был четырёхгодичной давности избавлением от неволи. Тогда это сделала жена; сам я не умел давать взяток, но уж коли дело на то пошло, придётся, думал я, повисить уровень мастерства и в этой, прямо скажем, чуждой для меня области. В общем-то у меня было что давать, годы бродяжничества в иностранных портах не прошли даром. А не это ли главное?

Не буду описывать встречу с семьёй – не о том речь. Кто возвращался после долгой отлучки, знает как изменяется облик дома, сохранённый в душе и очищенный временем от сора мелких подробностей, – как он разом обрушивается невыносимо чуждой, неузнаваемой картиной, где лица родных и любимых овеяны жарким дыханием перенесенных и только что подступивших горестей. И даже если на этой картине явилось новое, детское лицо, к нему ещё надо привыкнуть, полюбить его, – задача не из простых, потому что пропущенное отчаянно сопротивляется попыткам исправить в нём неудачные фрагменты. Моя жена выглядела безмерно уставшей, маленький Ваня дичился, не хотел меня признавать, а Митя стал вовсе другим: из нежного подростка превратился в угрюмого юношу, на все обращённые к нему вопросы имеющего один мало что говорящий ответ: «Нормально.» Нормальным было и то, что его призывали в армию со второго курса. «Что же тут нормального?» – спросил я. «А чем я хуже?» – пробурчал Митя. «Чем ты лучше?» – попытался я выправить вопрос в соответствии с одним из возможных пониманий проблемы. Он тогда промолчал, а я не сделал из этого короткого диалога правильных выводов. Я подумал: нет, это не кодекс чести, что-то другое. Только дочка порадовала своим цветущим жизнерадостным видом – противу моего ожидания, затаившего, пожалуй, самую давнюю горечь и приготовленного к встрече если не с отчаявшейся, страдающей душой, то по меньшей мере с тоскливыми серыми буднями «соломенной вдовы»: мой зять остался в Израиле в надежде упорным трудом достичь каких-то ему одному видимых в тумане вершин, а по мне – так просто подзаработать и заодно избавиться от ярма, которым всегда, по моим наблюдениям, ощущал собственную семью. Два года назад наш «учёный пароход» прибило к Хайфе (мы пополняли запас топлива); никто, разумеется не знал, что там живёт моя эмигрантка-дочь. В правильности адреса я был не уверен и всё же мне удалось их разыскать в одном из маленьких особнячков, разбросанных по берегу живописной бухты. Они ютились в одной комнатухе, за что платили половину общего заработка и отнюдь не выглядели счастливыми. Зять получал какую-то медицинскую стипендию, но уже в пятый раз не мог сдать профессиональный экзамен. Дочь обучала английскому русских переселенцев и сама пыталась овладеть ивритом. В этом райском уголке на берегу тёплого моря гнездилась тоска по снегам, хмурому небу и узорам, которыми расписывает стёкла мороз. Потом она вернулась – якобы забрать нашу маленькую, да так и осталась и теперь вот выглядела по-настоящему радостной, хотя при ближайшем рассмотрении поводов для подобного оптимизма вроде и не оказывалось: всё та же нищенская зарплата школьной учительницы, советский неустроенный быт. Помню, столь же беспричинную радость я ощутил после своего скандального разрыва с «фирмой», в результате которого угодил за решётку. Ничто, даже тюремная камера и перспектива долгой неволи не могли заглушить во мне торжествующего чувства правоты и – совсем уж странно – освобождения. Так иногда возвращаешься к реальности после кошмарного сна – вырываешься из мира нелепостей и удушливых страхов. Моей маленькой Киске было без трёх месяцев шесть, она немного скучала о «папчике» но близился таинственный «первый класс», и это создавало

в доме атмосферу приподнятости и ожидания чудесных превращений. Одним словом, девочки меня порадовали,

Первым делом я позвонил Макарову – одному из нашей старой картёжной компании, человеку энергичному и со связями и, как я догадывался, должному за четыре года взобраться ещё на пару ступенек, ведущих во власть. Я не ошибся. Он ничего не сказал мне по телефону (хотя я звонил домой), но по голосу, по интонациям теплоты – как-никак мы дружили со студенческих лет – и одновременно какой-то непонятной, затаённой тревоги я понял, что не ошибся: высокое положение чревато многими опасениями и прежде всего боязнью его утратить в результате какого-нибудь неосторожного шага. Когда он снял трубку, я назвал его по имени, и он сразу узнал меня, однако пауза, продлившаяся чуть дольше того, чем требуется для отклика, сначала обдала холодком, и даже подленькая мыслишка «Откажется» успела состроить мне насмешливую гримаску; но в следующий момент всё было смыто его обычной скороговоркой, переведшей беседу в ностальгическую тональность. Вспомнили нашего безвременно ушедшего друга Альберта Лыкова и договорились навестить его в ближайшие дни в месте упокоения – на Митинском кладбище. Там же и обсудить мои проблемы. Четвёртым всегда бывал Петя Кошкин, к счастью, и он оказался жив-здоров, но звонить ему я не стал, Макаров сказал: сделаем приятный сюрприз. Кошкин подвизался доцентом в каком-то экономическом вузе, я подумал: вот бы и мне! Если кодекс чести ещё работает – а он, по всему, не сдавал позиций – я непременно должен стать на преподавательскую стезю. (Я ведь не знал как это скучно, Впрочем, тому, кто «хлебнул моря», впредь будет всё казаться скучным.)

Я ждал их у подземного перехода в конце Тверской. Они подъехали, вышли из машины, мы расцеловались. Ни тот, ни другой не изменились настолько, чтобы нечто бросилось в глаза, неприятно поразив как бы собственным, отражённым в зеркале подпорченным видом. Мне, со своей стороны, было странным услышать комплимент в адрес моего «южного загара» – похвалу истинных горожан, взыскующих солнца и простора полей. Морскому волку, каковым я всё ещё продолжал себя чувствовать, само слово «загар» показалось каким-то обветшавшим, будто вынутым из старого словаря. Я не сразу сообразил, что принятое мною за комплимент было произвольным возгласом удивления: ещё совсем недавно гладкая обывательская моя физиономия превратилась, как говорят, в печёное яблоко – избыток «загара» и «морских купаний» не проходит даром, равно как навязчивое, годами тлеющее в душе беспокойство. Последнее, впрочем, поражает не так лицо, как сердечную мышцу.

Первое, что он сказал после обмена приветствиями: «Старик, у тебя кошмарное досье.» Мы двинулись на запад в потоке машин. Солнце на минуту скрылось за «Гидропроектом» и снова ударило в лицо. Откуда он это знает? Всё очень просто: служит на Лубянке. (Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Что может делать в этом заведении простой инженер, каковым выпустил его когда-то – а заодно и Кошкина и меня – наш досточтимый вуз? Ну, скажем, не совсем простой, а вроде бы немного даже учёный, как я говорил раньше – «кандидат в науку», я сам такой, и Петя Кошкин, что сидит сзади в обнимку с портфельчиком, доцент Кошкин, красавец Кошкин, слегка поблекший, но всё такой же дородный и снедаемый таинственными недугами. «Петро, а помнишь как мы с тобой...?» Конечно, помнит. Мы все всё помним – это и есть настоящая мужская дружба. А против Лубянки – что ж, против Лубянки – кодекс чести, и пусть они ещё померяются силами.) Они всё переносят, сказал Макаров, на «машинные носители», всю информацию, накопленную за последние десять лет – пока, – а потом и всё остальное, предполагается создать машинный архив, гигантскую поисковую систему, чтобы за каждой персоной не ползать среди пыльных стеллажей, а добывать её простым нажатием кнопки. К моей особе он получил доступ благодаря только хорошим отношениям с человеком, от которого зависит *дать-не-дать*. (Конечно, как же иначе!) Ведь я понимаю (Ещё бы!), что на всех «засекреченных» заводились такие «личные дела» («Хранить вечно?» – нет, теперь так не пишут, только гриф). Он. всего лишь начальник вычислительного

центра, и не в его власти уничтожить эту мерзкую папочку, он под расписку взял, может обещать только, что когда она (то есть я) будет записана (записан) по его ведомству, он затрёт запись, чтобы и духу моего не было. (И на том спасибо.) Но главное вот что: уголовное дело моё закрыто в связи с пропажей «объекта». (Ушёл из дома и не вернулся. Что ж тут удивительного каждый день кто-то уходит из дома и не возвращается. Если всех искать...) Но вообще-то я всё ещё числюсь в розыске. (Искать вам не переискать.)

Нет, Макаров не подведёт. Мы тем временем пронеслись через кладбищенские ворота, оставив за собой слева по ходу замок скорби – здание крематория, памятник «ликвидаторам» и, не доезжая с полсотни метров до мостка через ручей, свернули на боковую улицу. Весеннее солнце ещё не успело съесть избыточного в тот год снега, под колёсами клубилось, мы проползли ещё немного по глубокой колее, пробитой, очевидно, трактором-уборщиком, и стали на перекрёстке.

Всё было предусмотрено: дощатый столик, лавочки с трёх сторон, с четвёртой – Лыков собственной («фото на керамике») ухмыляющейся персоной взирает на своих старых друзей-собутыльников с отполированного – в рост – обломка гранита. Какая ранняя и какая странная смерть! Служебная командировка, Елабуга, его нашли в заброшенной церкви лежащим на полу в одном из боковых приделов. Мы же сами и привезли его оттуда в «цинке». Ну, здравствуй, Алёша, сказал Макаров. Мы сняли шапки и постояли с минуту молча.

Потом сели. Петя открыл «ядерный чемоданчик». Стали выпивать. Закусывали «отдельной» с чёрным хлебом. Водки было много. Я высказал опасение по поводу макаровского статуса «за рулём», на что получил ответ: за рулём даже ещё лучше; уточнять ситуацию я не стал, но дал себе слово на обратном пути пристегнуться безопаской. Кошкин рассказал, как однажды, года три назад, был здесь один и познакомился с женщиной, у неё сын погиб в Афганистане, они пили коньяк за этим же столиком. Он показал на стандартную беломраморную плиту на соседнем участке. Там было только имя, даты и какой-то корявый, будто начерно пробитый скампелью крест. Даже без фотографии. Ну и что было дальше? – спросил Макаров. Его всегда интересовали женщины. Да что сказать, мы все когда-то были не дураки по женской части. И почему-то были уверены, безо всяких, впрочем, на то оснований, что и в смерти нашего друга Лыкова повинна женщина. Иначе откуда бы взяться инфаркту в пятьдесят неполных лет?

Ничего не было, сказал Кошкин. Он её больше не видел. Ну, вот, сказал Макаров, что с тобой, старик? Ты действительно болен? Мы уже выпили по четвёртой, и разговор посредством лёгкого такого цинизма готов был перекинуться на темы отвлечённые, но кошкинская печальная повесть вернула меня к суровой действительности. У всех троих у нас были сыновья и по-видимому одни и те же проблемы с армией. За этот короткий промежуток времени от начала встречи авторитет Макарова необычайно вырос в моих глазах, и я ещё раз поймал себя на мысли, что горячо надеюсь на его помощь. Сколько твоему сыну? – спросил я Кошкина. Наверно для того лишь спросил, чтобы разговор потёк в нужное русло. Я знал: тому было примерно двенадцать. Макаров тут же всё понял. «Какой район?» – спросил он так просто, будто каждый день только и занимался тем, что вызволял из армейских сетей уклонистов-призывников. Я назвал. Район оказался «трудный» – в том смысле, что не было информации относительно «как берут»; но тем не менее какие-то подходы были (дословно: «так не бывает чтоб не было»), договорились – я позвоню через пару дней и получу необходимые инструкции. Оказалось, офицерская честь, как и всё, продаётся на чёрном рынке – следовало уточнить лишь цены и валюту.

На обратном пути нас остановили у поста ГАИ при съезде с кольцевой на Волоколамское шоссе. Мы все были изрядно пьяны, я даже пристёгиваться не стал, осмелел настолько. Макаров пошёл выяснять отношения, а мы с Петром сделали ещё по глотку «армянского» прямо из бутылки на виду у милиции. И сошлись во мнении, что это неслыханная наглость – оста-

новить чёрную «волгу». Впрочем, на ногах он держался твердо, не знаю какого достоинства ассигнации были там вложены у него в правах, или что-то другое, но не прошло и минуты как наш всемогущий друг вернулся, с напутствием «быть осторожным» и «не превышать скорости», и постовой ещё взял под козырёк и подмахнул жезлом – скатертью дорога. Вот так, старик, сказал Макаров, трогая с места, пока ты там плавал, у нас произошла эволюция. Жить можно, подтвердил Кошкин. Я сказал: ну, мужики, улажу свои дела, надо будет собраться, в картишки перекинуться. Как-нибудь в пятничку. Восстановим традицию. На том и порешили.

Через три дня он сам позвонил мне и рассказал, как надо действовать. Я пошёл к райвоенкому с «подарком», замаскированным под «сумку с продуктами». В тесном кабинетике посетителей сажали сбоку от письменного стола, нижний ящик которого – необычайной глубины, прямо-таки бездонный – был призывно выдвинут, так что пока я излагал свою просьбу и соответствующие мотивы (близорукость, травма, полученная в автокатастрофе), имеющие быть основанием для отсрочки от призыва или хотя бы для повторной медкомиссии, – я тем временем ловко извлёк из сумки японский двухкассетник в заводской упаковке и опустил в «спехран». После чего тот был не менее ловким движением комиссара задвинут в нишу. Он оказался очень приятным человеком, это подтвердила последующая беседа.

Но если до сего момента судьба явно ко мне благоволила, то дальше всё покатилося как-то не так. Меня всё-таки обнаружили, арестовали и снова посадили в СИЗО. Подозреваю, что любопытство, проявленное Макаровым к моему «делу», кого-то подтолкнуло «освежить» его. Нагрянула милиция, меня запихнули в «воронок» и повезли по ночной Москве в направлении Сокольников. Матросская Тишина была всё так же по-домашнему проста и приветлива. Врач-психотерапевт, старая знакомая, четыре года назад помогавшая мне справиться с бессонницей и приступами депрессии, теперь нашла моё состояние отменно хорошим. Я по секрету сообщил ей, что за это время решил свои проблемы и теперь могу посидеть лет пять-семь, но не больше десяти. А кстати, добавил я, вспомнив один старый анекдот, не переспать ли нам?

Хорошо бы и закончить на этой оптимистической ноте. Не тут-то было. Кодекс чести, будь он неладен, всё-таки сыграл со мной напоследок злую шутку. Категорически отказавшись от предложенной ему отсрочки, мой сын пошёл в армию «добровольцем» и вскоре, чего и следовало ожидать, оказался в Афганистане. Как я казнил себя за ту неосторожную фразу! («Хочешь сказать, чем ты лучше?») Не сам ли я вложил в эту юную голову единственное представление о чести, не имеющее хождения на чёрном рынке?

Хвала Господу, он вернулся живым. Но впереди ведь была ещё война.

Так или иначе, времена менялись. В результате громкого (в узких кругах) процесса меня оправдали. С врачом я так и не закрутил, снова впал в депрессию и только и было сил, что трогать её за коленку во время психотерапевтических сеансов.

А вернувшись домой, обнаружил нераспечатанную коробку с японским магнитофоном. Жена сказала, её принёс посыльный, отказавшийся от предложенной ему «благодарности». И я подумал, что редко всё-таки ошибаюсь в людях.

Чары Платона

*И, наконец, пороки, которые замечались в государствах Миноса, Ликурга, Солона, Ромула, Платона, Аристотеля и других создателей государств, уничтожены в нашем Городе Солнца, как ясно каждому, кто хорошо рассмотрит его, ибо всё наилучшим образом предусмотрено, поскольку этот Город зиждется на учении о метафизических первоосновах бытия, в котором ничто не забыто и не упущено.
(Т. Кампанелла, «0 наилучшем государстве»)*

Дональд М. Сайрес, лендлорд и шотландский барон, вдовец в хорошей физической форме, 5,5 фута, 150 фунтов, желал познакомиться с русской женщиной до сорока пяти, *не толстой*, дети не оговаривались. Объявление появилось едва ли не во всех русских изданиях, мало-мальски известных на американском континенте, в частности, – в Сан-Франциско, штат Калифорния. Очевидно, соискатель рассылал его в продолжение года или двух, потому что когда приехал в Москву, при нём оказался файл, насчитывавший двадцать шесть претенденток «на руку и сердце», для каждой из которых была отведена изящная папочка из плотной синей бумаги: в них копился архив, содержащий в основе краткое, но выразительное жизнеописание барона (растиражированное по количеству папок), информацию о его имущественном положении (владелец земли и доходных домов) и чётко сформулированный «раздел о намерениях», где провозглашалась приверженность институту брака. В меру способностей и любви к эпистолярному жанру корреспондентки, со своей стороны, снабдили файл описаниями двадцати шести страдательных судеб и сорока двумя цветными фото, попарно – портрет (крупный план), во весь рост в: купальном костюме: таково было условие первоначальной заявки. Возрастной минимум, по всему, заявителем не предполагался, и даже при поверхностном взгляде нетрудно было поймать зависимость: распределение вероятностей явно подчинялось нормальному закону с математическим ожиданием, приблизительно равным тридцати трём годам; «хвосты» же простирались от восемнадцати до установленных сорока пяти. С фотографий смотрели обаятельные русские мордашки, и было даже несколько настоящих красавиц, где выставленная напоказ безупречность могла поспорить только с изысканностью их литературного стиля. Но, вне зависимости от возраста, интеллекта и внешности пишущей, содержание всех эпистол, в общем, сводилось к одному: как плохо, неустроенно, опасно, одним словом, мерзко жить в России и какой обетованной землёй видится Америка. По части России возразить, в сущности, было нечего, а что до Америки, то, судя по всему, будущие эмигрантки не имели понятия о такой типично русской болезни как ностальгия. А если и знали, то из книг или понаслышке. Разумеется, не обходилось без прямых указаний на высокие моральные качества, которые, без сомнения, помогут создать крепкую семью. Дети? – но ведь это не проблема, верно? – как можно судить, состояние предполагаемого супруга позволяло (хотя он прямо на это и не указывал) не только содержать, но и обеспечить будущее пасынкам и падчерицам, паче чаяния таковые окажутся. Они и впрямь «оказывались» в двадцати случаях из двадцати шести и несколько даже выступали в качестве основного мотива: матери, сами притерпевшиеся к «российским мерзостям», хотели уберечь от них единственного ребёнка. Увы, единственного, ибо таков печальный стандарт, распространившийся на части земной тверди, – не то чтобы обязательный к применению, но почти повсеместно преобладающий. Как бы то ни было, по американским меркам «нагрузка» обещала быть небольшой и даже приятной, если ребёнок мал и сможет по-настоящему привязаться к отчиму.

Митя поехал встречать его в Шереметьево. Повесил на грудь плакатик «D.Sires» и стал у выхода. В любом случае он бы сделал именно так, даже если гость не был бы абсолютно

глух; в толпе ожидающих перед таможенным КПП, виделось десятка полтора подобных объявлений. Да-да! – американский жених был почти лишён слуха, но эта немаловажная подробность начисто отсутствовала в «письменных документах» – она выяснилась при телефонных переговорах, предшествовавших формальному приглашению, которые от лица брата вёл другой Сайрес – Питер. Изъясняться предполагалось письменно. Впрочем, как оказалось, Дон, со своей стороны, мог вполне нормально говорить, ему отнюдь не сопутствовала немота, что наполовину облегчало задачу, каковой было общение жениха с невестами.

Митя отличил его ещё у конторки таможенника, где Дон Сайрес, может быть громче нежели надо произнёс «Thank you very much.»; между тем сомневаться не приходилось: объясниться в любви не составит для него труда. Здесь же выяснилось и другое обстоятельство – возраст. Это был старик – сухошавый, крепкий, на вид около семидесяти, а сколько ему – оставалось только гадать. Семьдесят пять? Восемьдесят? Не удивительно, что в «заявке» не упоминались годы, в переписке же их заменяла фотография, на которой Дон выглядел не более чем на пятьдесят: он был необычайно фотогеничен. Его портреты не скрывали ничего, кроме возраста. Англосаксонский череп с прямым пробором искусно подкрашенных, ещё довольно густых волос, белозубая улыбка и седая щётка усов навевали какие-то ностальгические воспоминания о кино – постаревший Бартлет из «Бурных двадцатых». Его не портил даже слуховой аппарат – напротив, он как бы свидетельствовал о том, что «не всё потеряно», и если человек *плохо слышит*, то это не значит, что он не слышит вовсе. Если бы не густо усыпавшие виски пятна липофусцина, то и в жизни ему нельзя было бы дать больше шестидесяти. Ну, ещё походка... По-видимому, не только слух, но и вестибулярный аппарат был каким-то образом повреждён: при ходьбе Дон Сайрес производил впечатление человека крепко подвыпившего, его слегка покачивало, однако сомнения рассеивались быстро: этот старик прочно стоял на земле.

Ещё было известно: по профессии он дизайнер, и свой капитал создал упорным трудом, Впрочем, возможно, не исключившим несколько в меру рискованных финансовых операций. Главным же было то, что при всём капиталистическом облике Дон Сайрес финансировал газету леворадикального толка под названием «International Viewpoint», каковое в переводе не влекло для русского уха никаких «революционных» ассоциаций, однако в действительности скрывало бездну революционности, восшедшей на дрожжах перехлестнувшего на Запад троцкизма. Американские троцкисты – самые воинственные на Земле и, разумеется, ставят своей задачей «мировую революцию», призванную освободить «пролетариат» от «оков капитала». Однажды раскованному русскому пролетарию трудно себе вообразить положение пролетария американского, но по утверждениям «IV» оно было необыкновенно тяжёлым: бесправие и нищета правили свой дьявольский бал в западной полушарии, за исключением разве что Острова Свободы, где при всей справедливости строя он долженствовал быть лишь немного подправлен в соответствии с бессмертными идеями Л.Д.Троцкого. По слухам, «IV» пользовалась там большой популярностью, и даже сам Фидель сверял по ней свой «социалистический курс», всячески стараясь минимизировать нежелательные «отклонения». И что там ломать голову над странностями американских капиталистов-революционеров, русский Савва Морозов и здесь являет собой вдохновляющий пример. Воистину, «перманентная революция», о которой так страстно мечтали большевики, воплотилась явью на всех континентах.

Митя Чупров печатался в «International Viewpoint» он был бессменным лидером троцкистов российских. Последние всячески демонстрировали свой революционаризм, участвовали в международных съездах «Социалистического рабочего союза» (финансируемого всё тем же американским капиталом) и, не будучи зарегистрированы в Минюсте, тем не менее держали валютный счёт в банке «Метрополитен». Говорили, что президент его, некто Келлер, симпатизирует «революционной молодёжи». СРС (последний штрих) отмежевался от «манделистов» (другое троцкистское «крыло») и явно тяготел к анархо-синдикализму. Митя ждал со дня

на день звонка из Лондона с известием о грянувшей в Англии революции, его британский друг и единомышленник Раймон Силани утверждал, что в северных шахтёрских районах «обстановка накалена до предела»; на последней конференции в Абердине был выработан план совместных действий.

Вполне понятно, что когда встал вопрос о матримониальном путешествии патрона в Россию, благодарные троцкисты не преминули тотчас указать московский адрес постоянного своего корреспондента Дмитрия В. Чупрова. И вскоре среди прочих, со всех концов света приходящих конвертов Митя распечатал тот, в котором содержалось послание Дональда М. Сайреса, эсквайра. Последний излагал суть проблемы и просил «bed and breakfast» на месяц-полтора, ибо гостиничные услуги в Москве непомерно дороги, и лучше он эти деньги отдаст в руки «товарища по партии», а что касается аванса, тот уже перечислен на Метрополитен-банк, реквизиты же были ему любезно предоставлены в редакции партийной газеты.

Митя поехал в банк и получил подтверждение: одна тысяча американских долларов поступила двадцать второго мая 1994 года. У Мити была жена и маленький ребёнок, аспирантская стипендия истаивала во мгновение ока, поэтому он немедленно дал согласие. Ведь в конечном счёте все известнейшие революционеры содержали себя за счёт «пожертвований». Примеры? Достаточно одного Маркса. Так почему же он должен быть исключением? «Капитализация» страны, вогнавшая в нищету миллионы простых тружеников, должна быть остановлена, а затем повёрнута вспять – для этого были хороши все средства. Образование, полученное в МГУ на факультете Истории КПСС, обратило Дмитрия В. Чупрова профессиональным революционером.

Но что сделало таковым Д. Сайреса? С точки зрения теоретической вопрос был достаточно интересен, хотя, например, для митиной жены Лоры, по убеждениям анархистки, более важным казалось другое – а именно факт устремлённости Дона Сайреса к «русскому эросу». Неужели, удивлялась она, американский миллионер, пусть даже преклонных лет, не может найти себе жену среди своих соотечественниц? На что Митя резонно возражал: нет более непрехотливых и работающих женщин на Земле (исключаем Африку и Азию по незнанию) – ну, хорошо, в Европе, – и нет более красивых, чем русские; к тому же они, как правило, неплохо образованы и готовы запродать душу дьяволу лишь бы выйти за иностранца. Как всякий марксист, Митя неплохо разбирался в «женском вопросе». Однако Лора не преминула задать его гостю в первый же день знакомства. *Почему?* – спросила она. На что Дональд М. Сайрес ответил со всей прямоотой: «В Америке меня никто не хочет.»

Удивительная, сказочная страна Россия! В ней всегда что-то бурлит, меняется, кого-то казнят, кого-то милуют, брат на брата идёт войной, танки палят из пушек, ракеты шеряются акульими головами, и митинги, митинги... Прибывающему, например, из тихого провинциального Лондона кажется, что он угодил на карнавал, где танцуют на острие ножа, на грани жизни и смерти, и тогда знаменитые бразильские мероприятия, где размахивают всего лишь фаллосами, представляются в своём истинном скучновато-мещанском свете. Митин друг Раймон Силани, прошедший выучку в Ирландской Республиканской Армии, переведший «Зелёную книгу» неистового Муаммара на английский, утверждающий, что воевал в Южном Ливане и лично знаком с Арафатом, – «железный» Раймон почитал необходимостью ежегодно посещать «перестроечную Россию» (независимую Россию, «содружество независимых»), дабы набраться воинственного духа и ещё – в который раз! (учит История) – убедиться, как легко предаются идеалы пролетарской революции. Его «русские репортажи» в «Times», однако, дышали буржуазностью – и соответственно оплачивались; между тем на страницах «IV» крепла его же гневная проповедь, клеймящая «реставрацию капитализма» в России. Собратья троцкисты за глаза иногда называли это пламенное перо продажным, впрочем, снисходительно посмеиваясь и сопровождая колкие замечания английским эквивалентом русской поговорки «хочешь жить – умей вертеться». А Митя еще и добавлял перифраз нашего не понятого

на Западе великого земляка: «Мы все вертелись понемногу, когда-нибудь и где-нибудь». В переводе это звучало совсем неплохо.

Одним словом, «перманентная революция», вместо того чтобы окончательно стать «могильщицей капитала», похоже, неплохо питалась его же соками и уж если выполняла какую-то историческую роль, то несомненно придавала глубины и значительности пресловутому «одномерному человеку» Г. Маркузе.

Всё осложнялось тем, что готовилась Четвёртая конференция СРС; Митя буквально сбивался с ног. Мировой революционный процесс выносил на своём гребне столько желающих принять участие, что всем членам немногочисленной московской организации вменялось в обязанность устроить в семьях по два-три человека. Помимо старого друга Силани и внезапно свалившегося на голову Дона Сайреса, Мите «досталась» ещё одна американка – Анна Радклиф), темнокожая учительница биологии из Вашингтона, округ Колумбия. «Жениха» Митя поселил у бабушки Сони на Машкова, 14; Раймон уже вполне прилично говорил по-русски и был самостоятелен (на этот раз его приютила сестра Ольга); что касается Анны, то она поручалась заботам митинога отца Владислава Николаевича Чупрова, скромного профессора кафедры информатики одного из московских вузов. Цветная американка, по слухам, была красива и молода (недавно влившись в «организацию», она ещё не успела предстать собственной персоной на столь ответственном Форуме), и Митя счёл возможным доверить её престарелому профессору, поскольку тот объяснялся по-английски, не то чтобы свободно, во всяком случае, мог общаться, как говорят, на бытовом уровне. К тому же летом был абсолютно свободен, если не считать сада и огорода на шести сотках в северном Подмосковье. Митя даже предположил, что поручение покажется «старикам» приятным, тот явно скучал в рутине кафедральной текучки и «всеобщей глубокой тупости», предсказанной Паркинсоном в одном из его «законов»: в нём говорилось о последствиях так называемой «всеобщей компьютеризации». Чупров-отец утверждал, что в среде студенческой молодёжи мрачноватый закон блестяще подтверждается. Как и все математики, старый профессор был великим скептиком. Впрочем, он был ещё далеко не стар и не мог остаться равнодушным к прелести молодой негритянки, думал Митя, паче чаяния та окажется столь же неотразима в реальности, сколь живописали видевшие её «товарищи по партии». Митя с трудом представлял себе шестидесятилетнего отца в роли галантного кавалера, но был тут и свой расчёт: молодая мачеха Татьяна Васильевна не в пример мужу отличалась общительностью и оптимизмом и наверняка, думал он, будет рада свежести знакомство с заокеанской коллегой. Врачу и биологу, рассуждал Митя, всегда найдётся о чём поговорить. Правда, Лора с её чисто женской способностью смотреть в корень указала на вероятность любовного треугольника, но Митя с негодованием отверг такое предположение, заявил, что члены «союза» заведомо не смешивают борьбу с устройством личных мелких делишек и что, во-вторых, вопреки мнению, сложившемуся на фоне революции сексуальной, нет более высоконравственных женщин, чем простые американки. На это Лора справедливо заметила: любовь – не вопрос морали, но – чувства.

Дебаты на конференции СРС обещали быть жаркими. Лето 94-го, кто помнит, сгущало в Москве предгрозовую атмосферу, переродившаяся демократия (впрочем, по мнению троцкистов, никогда демократией не бывшая) угрожала диктатурой, посему требовались меры предупреждения, но какие? – никто не знал, и по традиции первым вопросом повестки дня было поставлено «отношение к текущему моменту». Силани был весь – революционный порыв, происхождение которого можно было одинаково отнести как на счёт ситуации в английской, так и в русской горнодобывающей промышленности (до начала работы неистовый Раймон успел слетать в Кузбасс и несмотря на лёгкое похмелье, а может быть благодаря ему не уставал восхищаться гостеприимством шахтёров); настаивая на «решительных действиях», Раймон, казалось, не до конца определился – где именно таковые должны предприниматься. В партийных кругах злословили: не даёт покоя слава Гевары. А Дон Сайрес, как выяснилось, давно и хорошо

знавший Силани, на приглашение принять участие в конференции, к удивлению всех ответил, что «не затем приехал» и что «ещё подумает, стоит ли оплачивать разгул таких сомнительных типов как Силани», для которого «любая революция хороша, была бы только русская водка, шнапс или виски. Ну и, конечно, женщины». В Лондоне, сказал Сайрес, у того пятеро детей от трёх жён и куча долгов. Митя был немного обескуражен такой характеристикой английского друга, но отнёс её по ведомству «идеологических расхождений»: одно время Раймон склонялся к менее радикальному «манделизму». Если, к тому же, руководствоваться в борьбе соображениями морали, то, право, лучше заранее отказаться от каких бы то ни было действий, всем известно: революция и мораль несовместимы. (Читайте классиков!) А что до практической помощи, то московская организация уже получила от английских товарищей Apple Mackintosh, и ждала передачи типографского оборудования. («Блеф», – презрительно фыркнул Сайрес.)

Водворившись на постой у Софьи Аркадьевны, Дональд немедленно принялся звонить в Саратов «златокудрой глухой красавице», чьё фото первым извлёк из «файла» и продемонстрировал с гордостью победителя: с фотографии смотрела юная долговзая нимфа, право, способная, сказал Митя, украсить глянцевую обложку какого-нибудь «журнальчика для дебилов» наподобие «Cosmopolitan». Бабушка Соня, некогда сама бывшая статной красавицей и ещё не утратившая своеобразной привлекательности, только скептически усмехнулась и смерила постояльца презрительным взглядом. Впрочем, также владея английским «на бытовом уровне», она ещё добавила «Fine!», однако относилось ли это к молодой кандидатке или к ситуации в целом, было неясно. Митин же тайный план состоял в том, чтобы «сбагрить» Дона бабушке на те несколько дней, что сам он будет занят на конференции.

Между тем со всего света съезжались делегаты и «приглашённые с совещательным голосом»; форум обещал быть поистине представительным. Японец поселился у партийного казначея Евстратова, поляк пристроился у родственников русской жены. За четыре дня до открытия прилетела Анна Радклиф. На встречу Митя повёз отца, чтобы сразу, без долгих проволочек, как он выразился, «вручить бразды правления», «поставить точки над «и», одним словом, дал понять, что надеется *не иметь хлопот* и предпочёл бы встречаться с гостьей только на заседаниях. Профессор всю дорогу молчал, чем-то, казалось, раздосадованный, и Митя для убедительности прибавил, что Лора будет определённо против, если его общение с «американской подружкой по партии» выйдет за пределы официоза. Владислав Николаевич выглядел обречённым, и, только уже подруливая к Шереметеву, Митя вспомнил, что отец не выносит автомобильных путешествий, даже самых коротких, – с тех пор как в той памятной катастрофе был покалечен их старенький «жигуль» и списан потом по статье невозполнимых потерь. Митя почувствовал себя вдвойне виноватым: он тогда взял машину без спроса, разбил её, чудом уцелел сам и ко всему наделил отца этой неудобной странностью, подлинно носящей характер фобии. Мифическая «Лига борьбы с автомобилизмом», возглавляемая Владиславом Чупровым, оставаясь тайной, как масонская ложа, тем не менее (утверждал её председатель) неустанно пополнялась новыми членами, крепла и обещала стать такой же влиятельной, как движение «зелёных». К сожалению, Митя вспомнил обо всём этом слишком поздно. Притулившись у оконечности пандуса, Митя заглушил мотор, с минуту они посидели молча. «Извини, папа, я совсем забыл...» Владислав Николаевич промолчал в ответ. Конечно, они так редко общаются, было бы странным... Он сам во всём виноват. Если тебе что-то не нравится в твоих детях, то некого винить кроме как самого себя. Чупрову-старшему не нравилось митино увлечение троцкизмом, вся эта революционная возня, набившие оскомину лозунги и, главное, *бесперспективность* сыновнего увлечения. Не чувствуя своей вины, он однако знал: виновен – и пощады не жди. Говорил, что всё это плохо кончится. И всё-таки в глубине души завидовал сыну, верил в его искренность.

К их удивлению, они оказались не единственными, встречающими «темнокожую революционерку». И уж совсем неожиданностью стали сопровождавшие её десять мальчиков и дево-

чек всех оттенков, от «тёмного ореха» до лёгкой золотистости. Это был «федеральный обмен» в действии: школьникам старших классов «повышали культурный уровень» (culture level), Владислав Николаевич свободно читал «по технике», но ему еще редко приходилось *говорить*. И вдруг он с восхищением почувствовал, что *понимает и может сказать*, откуда-то сами собой выскакивали, казалось, напрочь забытые слова, – и такая простая грамматика! Митя с удивлением посматривал на отца: тот превзошёл все ожидания. Американка была похожа на Тину Тёрнер, ослепительно белозуба, глаза и «в теле»; во вкусе отца, подумал Митя. У него не доставало «данных», чтобы судить об этом наверняка, заключение вывелось по сравнению с мачехой Татьяной Васильевной: если бы та не была блондинкой, то вполне могла бы сойти за негроида статью и повадкой тигрицы. Владислав Николаевич, похоже, был раздосадован, когда выяснилось: Анна должна сначала распределить по семьям детей и только после этого «отдаться им в руки». Однако Митя решил не ждать, он погрузил очарованного (так он думал) профессора в школьный автобус и ринулся по своим делам.

А дела принимали угрожающий характер. Будто бы подтверждая, что если сегодня идут плохо, то завтра жди ухудшения. Они образовывали нечто похожее на замкнутый круг. Международная конференция одной из влиятельнейших интернациональных организаций грозила сорваться по причине тривиальнейшей – отсутствию помещения. Такое могло случиться только в России! Никто не хотел сдавать без «документа о регистрации»; таковой же получить от властей не представлялось возможным ввиду малочисленности «русской секции». А как докажешь, что «диаспора» насчитывает миллионы (если поскромничать – тысячи) приверженцев невоплощённой идеи освобождения рабочего класса? Впрочем, они и не собирались никому ничего доказывать, в конце концов приличная взятка в долларах могла бы мгновенно разрешить все проблемы. Но тут выступали на сцену принципы: заключать сделку с коррумпированным государством было неизмеримо ниже достоинства «рабочих социалистов». Однако Фемида уже почуяла что-то своим длинным носом и протянула к ним отвратительную грязную лапу с идиотскими аптекарскими весами: в кармане у Дмитрия В. Чупрова лежала повестка в прокуратуру – СРС успел стяжать себе славу подпольного. С одной стороны, это даже немного льстило, с другой – раздражало, отвлекало от работы. Митя с презрением думал, что и здесь всё могла бы решить какая-нибудь сотня долларов, но – принципы... Ему даже лень было заглянуть в уголовный кодекс, узнать по какой статье и чем карается «подпольная деятельность». Русские революционные традиции звали на баррикады. Митя чувствовал как сжимаются кулаки, а на плечо ложится привычная тяжесть автомата. Он старался не вспоминать свой «афганский поход», и то хорошо – ночные кошмары последнее время стали досажать меньше, ничего кроме презрения к самому себе за трусость, тогда проявленную, он не испытывал, но была теперь в его характере одна черта – говорили, неизгладимая – часто мешающая: при малейшем противодействии он мог неожиданно взорваться приступом необузданной ярости. Особенно это мешало в семье. Если бы не ум, не чуткость и выдающееся терпение жены, одному богу известно, чем бы всё кончилось. Да, он был трусом дважды: когда не отказался участвовать в «этой мерзости» (так называл про себя), испугавшись прослыть дезертиром, и вторично – не перейдя сразу на сторону моджахедов, не сдавшись в плен, как это сделал один из его друзей по «школе молодого бойца». Были смешны все эти фарисейские «братства воинов-интернационалистов». Прав отец: есть только один интернациональный долг – бастовать, если тебя шлют наводить порядок за пределы отечества.

И неизбежное, редко покидающее чувство вины...

Между тем Дональд М. Сайрес, американский миллионер, никому не нужный на родине и желанный в России, с минуты на минуту ждал объявленного телеграммой визита: глухонемая красавица из Саратова летела на свидание в надежде стать за океаном знаменитой фотомоделлю. Она справедливо полагала, что даже если у «жениха» много других, конкурирующих вариантов, то её молодость, красота и неплохое образование (техникум лёгкой промышленно-

сти) не оставляют им шансов на победу. Она уже привечала своего «старичка» и совсем даже не мечтала о его скорейшей кончине, как это часто случается в подобных ситуациях. В её двадцать два года она ещё никого по-настоящему не любила, и теперь готова была отдать весь жар души будущему супругу. Но прежде чем они отправятся в далёкую Калифорнию, она увезёт его к себе, на Волгу, – показать настоящую Россию, глубинку, неоглядные дали, что открываются с высокого – западного – берега, простираясь на восток аж до самого Урала. И то правда: в ясные дни на горизонте проступали горы.

Когда девушка возникла в дверях коммуналки на Машкова, Софья Аркадьевна встретила её с той преувеличенной любезностью, которая так часто свойственна нам в обращении с людьми, страдающими каким-либо физическим недостатком. Выразительными жестами, в которых смешались оттенки сострадания, любопытства, восхищения и даже участия (что мгновенно пришло на смену лёгкому презрению, которым был одарен ранее и целиком пресловутый «файл»), жестами радушной хозяйки, обрадованной визиту, гостя была препровождена в комнаты, где на кушетке восседал Дональд М. Сайрес. Воспитанная в советских традициях, Софья Аркадьевна почитала неравный брак большим несчастьем, хотя, прожив долгую жизнь в «родных пенатах», кажется, должна была бы знать, что есть несчастья несравнимо более «основательные»; однако здесь, как и во многом другом, постаралась русская классика: у кого же не стоит перед глазами знаменитое, исполненное мелодраматического пафоса полотно? Извечная русская боль за «оскорблённых и униженных» – лучше бы её не было.

Девушку звали Катя. Kathrine. Очаровательное англосаксонское имя. Мир тесен – хотя бы потому, что в нём легко перемещаются имена. Дон Сайрес опустил на одно колено и поцеловал руку молчаливой красавице. Её огромные голубые глаза говорили больше, чем сказать мог бы язык: в них отразилось такое глубокое разочарование, что Софья Аркадьевна не выдержала и вышла из комнаты. Эти двое могли разговаривать только на языке жестов, а он не требует перевода. «Я думала, что он моложе.» Софья Аркадьевна сделала вид, что поняла фразу и даже покивала для приличия, но лишь на кухне, приготавливая чай, наконец уловила смысл в том, что сначала показалось абсолютной невнятицей. Теперь ей стало обидно за Дона. Он был всего лишь на десять лет старше её самой и вовсе не выглядел стариком, секрет его фотогеничности крылся, она решила, в молодости души. За эти несколько дней его «постоя» она успела привыкнуть к «присутствию мужчины в доме» (именно такими словами думала), к его чисто американской нестеснительности, к манере есть борщ (фирменное блюдо – он проносил borsh): сначала выхлёбывать жижу, а потом съесть «густоту», помогая себе кусочком хлеба. Когда он выходил в исподнем в «места общего пользования» (льняное бельишко небесной голубизны), шлёпая босиком по истёртому линолеуму, сосед Лёва, скандалист и алкоголик, уважительно кланялся и брал под козырёк. Он тоже слегка покачивался уже с утра и, вероятно, думал, что сухая, перевитая мускулами фигурка «америкоса» покачивается с похмелья. Старушка Валентина Владимировна тотчас убегала из кухни, Лёвка говорил – от соблазна. Разумеется, американцы везде чувствуют себя как дома, но, в конце концов, что тут особенного, думала Софья Аркадьевна, если человек вышел умыться не в смокинге, а в домашнем. Это вовсе даже и не исподнее, а пижамка «от Кардена», неверно истолкованная по причине русского известного консерватизма. Зато Лёвка уже три дня не матерился, не ломился в дверь и не обзывал «жидовкой», исходя завистью к трём её комнатушкам.

Когда она вернулась к гостям, старик и девушка оживлённо беседовали. Дон Сайрес неуклюже пытался сформулировать какой-то вопрос, неэкономно размахивая руками, а Катя, с недоверчивой улыбкой, но потеплевшими глазами, всем своим обликом доброй феи выражала готовность понять, помочь, одним словом, сделать всё, чтобы смягчить отказ, который уже стучался у входа. Даже Софья Аркадьевна поняла с порога это «хочешь ли ты меня?», а прекрасная Катрин всё уклонялась от прямого ответа, пока наконец не нашла приемлемой формулы, состоящей в удобном компромиссе: отложить окончательное решение вопроса

и немедленно последовать в Саратов «познакомиться с семьёй». Два билета на вечерний поезд появились на свет из расшитого бисером кошелёчка и были предъявлены восторженно их встретившему барону. Всё остальное перевела письменно Софья Аркадьевна на «бытовой английский» между чаем и дальнейшей более основательной трапезой, заполнившей время до отъезда на вокзал. И даже не пришлось прибегнуть ни разу к словарю. «I love you!», несчётно повторенное Доном, не требовало перевода, поэтому Софья Аркадьевна его просто-напросто игнорировала.

Когда они ушли, опустевшие комнаты наполнились гулом, как бывает в жилище, покинутом его обитателями. Ей даже на мгновение показалось, что всё это уже было когда-то, может быть, в другой жизни. Такое часто случалось с ней, она знала как это называется – *воспоминание настоящего*, читала в одной из книжек, подсовываемых иногда зятем «для общего развития». Нет, теперь было другое. Не надо мучиться, чтобы вспомнить, как уходил, уводимый навсегда, единственный в твоей жизни мужчина, муж. Странно, подумала Софья Аркадьевна, неужели за несколько дней можно так привыкнуть, привязаться к человеку, о существовании которого дотоле не знал и знать не хотел, чья «старческая похоть» (неужели это её собственные слова?) казалась смешной, едва ли не отвратительной и не внушала ничего, кроме презрения. Она вдруг почувствовала такую жалость к себе, к старику, к Мите, – что села на кухне и заплакала. Оказалось, на удивление, что в этой жизни ещё не выплаканы все её слезы. Не всё пережито.

Внуку, вечером захавшему проведать «высокого гостя», она оправдала покраснение глаз внезапно развившимся конъюнктивитом; но тот, вероятно, и не заметил бы ничего – так был занят своим. Впрочем, остался недоволен «бегством жениха», в основном по причине скорого открытия конференции, где, по его мнению, присутствие Дона Сайреса было необходимо. Софья Аркадьевна села на телефон, и вскоре вслед беглецу полетела срочная телеграмма с напоминанием важной даты и просьбой не опоздать к заседаниям. Митино радостное возбуждение объяснилось просто: уладилось дело с помещением – и очень смешно. Он рассказал, как пришёл к своему старому школьному товарищу («Ты его помнишь – такой длинный, худой, всё гантельками накачивался, да так и остался, теперь зато – председатель банка.») и попросил на несколько дней зальчик сдать, который те арендуют сами вместе с дюжиной других комнаток в башне на Новом Арбате. Лёнька, рассказывал Митя, отчего-то перепугался, наверно подумал – рэкет, подумал, «афганцы» – бандиты все, в «охранники» набиваются, ничего кроме как стрелять не умеют. Митя его не стал разубеждать – главное получить согласие. Мало того – бесплатно, в любое время!

Рассказ этот Софье Аркадьевне не понравился. Всколыхнул старую боль, подспудно тлеющую как задетый пожаром торфяник. Тот не страдал, кто верит, что раны душевные заживают временем. Время – это просто другое название жизни (она прочитывала на сон грядущий несколько страничек из Декарта). Когда живёшь долго, всего-навсего уменьшается «удельный вес» тех отрезков, что прожиты в боли, в страдании – как бы ни были сильны эти страдания и боль. Растишь детей, а потом оказывается, что они решили «идти другим путём»; видишь, как этот путь уводит от истины, – но ты бессильна, только сиди и жди. И плачь – когда повисают над пропастью заблудившиеся во ржи. (Софья Аркадьевна вообще много читала.) Она уж, право, решила, что все несчастья сгинули позади – и вот тебе: внук – троцкист, революционер. Не горе ли на старости лет? А теперь ещё этот проклятый американец...

Уладив с телеграммой и взяв обещание держать его «в курсе» (бабушка только головой покачала), Митя помчался к родителям в Марьину Рошу. Там и вовсе что-то происходило непонятное – позвонила мачеха Татьяна Васильевна и попросила срочно приехать. Он, собственно, и держал туда путь, а на Машкова заскочил просто потому, что по дороге. На «бабульчонка» надеялся как на самого себя.

К удивлению, обнаружил там Раймона Силани – нестибаемого Раймона, неистового Раймона – но и печально известного пристрастием к бутылке. Взлетевший под облака «железный

занавес» распахнул такую головокружительную даль, открыл такую сверкающую огнями сцену, что впору было влюбиться в один только этот «революционный пейзаж». С истинно английской пунктуальностью, дважды в год (1 мая, 7 ноября – *наши праздники* – говорил) Раймон летел в Россию из унылого туманного Альбиона, чтобы «приобщиться к русской культуре», и, действительно, так обрусел, что всем напиткам предпочитал «Столичную» кристалловского разлива вперемешку с пивом. Ну и, разумеется, женщины («дэушки» – произносил по-кавказски) ... Попробуйте-ка в Лондоне пристать на улице к женщине, которая вам понравилась. Не миновать полиции.

Раймон, что называется, был под банкой («under bench» – дословно, кто не знает, *под лавкой*), то есть по-русски – слегка подвыпивши. Татьяна Васильевна поила его чаем, но рюмок не подала, хотя на столе стояла бутылка шотландского виски «Shivas Regal» (1801, 12 лет выдержки), привезенная Раймоном не иначе как специально для этого визита: он отнюдь не скрывал своего восхищения хозяйкой и всякий раз «почитал долгом» посетить «родовое гнездо» (шутил – будущий музей-квартиру) выдающегося «лидера» Дмитрия В. Чупрова. Однако делал это всегда в сопровождении последнего и в намеченный день с утра не пил. А всё началось с того, что в первый свой приезд был водворён к Чупровым по просьбе сына и в конце гостеваний «получил отказ», адресованный, правда, не «лично в руки», но «ответственному просителю». И хотя был в этот момент уже за порогом (усаживался в митину «тачку» – ехать в аэропорт), успел-таки стать «персоной нон грата», о коем событии конфиденциально объявил Чупров-отец, склонившись к сидящему за рулём сыну: «Последний раз,» – бросил коротко Владислав Николаевич. По его лицу Митя понял всё и лишь утвердительно кивнул; о подробностях было нетрудно догадаться. Он и после ни о чём не спрашивал, а «неистовый Раймон», кажется, и впрямь оставил сердце в России, в Москве, и уж если быть до конца точным – в Марьиной Роще. Кто знает, возможно, мачеха Татьяна Васильевна поощрила воспламенённого «функционера» или по меньшей мере не пресекла в корне «поползновений» (думал Митя), но всякий раз, едва ступив на «обетованную русскую землю» (Promised Russian Land), Раймон справлялся о здоровье «мамы» и просил назначить день для «визита вежливости». Ну что ж, его можно было понять, Митя и сам хорошо помнил то первое впечатление, которое произвела на него эта женщина, он тогда лежал в больнице после «авто», сестра Ольга принесла «Любовника леди Чаттерли» на английском, он читал уже достаточно бегло и почти без словаря, и пришла Татьяна – знакомиться, будто со страниц знаменитого романа; это была «пора любви», Митя влюблялся, как говорят, по нескольку раз на дню и «раскручивал роман» с молоденькой медичкой, и будущая жена Лора уже была поставлена в известность о намерении на ней жениться; но пришла Татьяна, и Митя понял одну простую истину: как бы ни были прекрасны женщины вокруг и рядом с тобой, всегда найдётся такая, что неожиданно затмит всех. Было ему тогда от роду пятнадцать лет, мачехе – двадцать восемь.

Отца дома не оказалось. Татьяна сказала: на даче. Ничего удивительного – деревенские корни, говорил Митя, дают себя знать. Отец обожал свои «сотки» в северной лесной глухомани, возделывал «участок» (какое отвратительное слово!) с энергией, «достойной лучшего применения», а старенькую бытовку военного образца («здание контейнерного типа столовая») превратил невиданными стараниями в «тадж-махал» (называла Таня). Удивительным было другое – отсутствовала темнокожая гостья. Конечно, подмосковная природа заслуживает того, чтобы с ней познакомиться вблизи, а не только с высоты птичьего полёта, и особенно сельский быт (village way of life) русской интеллигенции, но не слишком ли она простодушна, сказал Митя, не очень ясно кого имея в виду – то ли Татьяну, то ли американку. Однако в присутствии Раймона уточнять не стали. Таня сказала только: «Лишь бы на пользу шло.» Раймон согласно кивал, хотя эта невнятная скороговорка, иногда используемая русскими, была ему недоступна. Что-то он всё же понял. Таня сказала: «По его части,» – и посмотрела прямо в глаза таким долгим и (показалось ему) таким выразительным взглядом, что сердце – и ведь уже

не молоденького – донжуана часто забилось. К сорока годам, он заметил, «русские красавицы» приобретают восхитительную округлость форм и какую-то внутреннюю мягкость, так выгодно их отличающие от костлявых чопорных англичанок. Он часто говорил: если хочешь узнать страну – полюби женщину. На что русский друг Митя возразил однажды: если хочешь узнать страну – повоюй немного с её народом. Конечно, ему ли не знать. Раймон, хотя и напускал на себя многоопытный вид да и впрямь повидал немало, тем не менее часто рядом с Митей чувствовал себя мальчиком. Тот иногда пугал нешуточным радикализмом, особенно же – своей позицией в вопросе «о вооружённом восстании». Этот пункт программы СРС был настоящим камнем преткновения: русские просто боготворили оружие. (Только однажды Раймон по молодости ввязался в теракт – результаты содеянного потрясли его, навсегда отвратив от терроризма. Он был сторонник ненасильственных методов.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.